УПРЯЖКА

Покко профессиональный каюр. Коряк по национальности. Небольшого роста, покатые плечи. Одет, как и я, в пеструю кухлянку. На голове малахай, вышитый бисером. Слова не вымолвит, пока не посмотрит тебе в глаза. Часто вспоминал о недавно родившемся внуке, которого в честь деда назвали Покко. Каюр то и дело переставлял собак в упряжке. Так надо. Так лучше. Иначе собаки утомятся от однообразия. «Долгий» сосед может надоесть: вот и меняют местами. В нашей упряжке было одиннадцать светлых лаек с различными по размерам и окраске пятнами. И только одна, наиболее рослая и мощная — была совершенно черная, как смоль. До того черная, что на солнце блестела. Это был вожак без имени. По моему предложению Покко согласился назвать его Боцманом.

Всех собак можно переставлять местами, но не вожака, от которого зависит всё и вся: ход нарты, ритмичность продвижения, настроение упряжки. Вожака боятся до смерти все остальные собаки. Он, как принято говорить у психологов, является харизматическим вождем, который заслужил свою корону самой жизнью. Если какая-нибудь лайка хоть чуть, хоть самую малость сачкует, то каюр на время ставит ее рядом с Боцманом, который не дает спуску лодырю. Таков закон. Другого выхода нет. Мороз под шестьдесят градусов. Снег мерзлый. Как крупа. Как пляжный песок. Не скользкий. Через каждые два-три километра приходилось ставить нарту набок. Смачивать (войтать) полозья водой, которая тотчас же превращалась в корку льда и через некоторое время стиралась о наждачную поверхность кочковатой тундры. В таких условиях сачковать — значит предать всех и себя в том числе. Сачковать — значит вовремя не добраться до места ночлега, вовремя не получить положенную раз в сутки юколу. Одну-единственную вяленую рыбину. Сачковать — значит погибнуть. Всякое может быть в открытой, белой безмолвной тундре, когда мороз под шестьдесят.

Каюр никогда сам не наказывал бездельника. Нельзя человеку, так сказать, опускаться до такого уровня. За любую провинность в упряжке он наказывает только одного, как он сам называет, человека: вожака. Но вожак непременно должен знать, за что огрели его по хребту тяжелым остолом. Всякий раз, когда Покко наказывал Боцмана, я чувствовал, как сердце обливается кровью. Казалось, какая чудовищная несправедливость: из-за одного, простите, негодяя, из-за одного паразитирующего сачка так строго, так больно наказывать великого труженика тундры.

Однажды, когда каюр в очередной раз замахнулся остолом, я не выдержал и, соскочив с нарты, оттолкнул его в сторону. Бог мой, что тут было! Боцман, который еще минуту назад, скрючившись, покорно ожидал удара по спине, словно взорвался. С неистовым лаем он набросился на меня, и так остервенело, так разъяренно, что если бы не подоспевший каюр, то наверняка самое меньшее я лишился бы кухлянки. Покко успокаивал вожака, а сам хитро улыбался, довольный собой, довольный Боцманом, довольный действенностью законов тундры.

Сам я старался соблюдать все законы и обычаи тундры. Знал, например, что в пути нельзя загадывать наперед, и никогда не справлялся у каюра, сколько осталось до того или иного населенного пункта. Как-то я взялся было старательно соскабливать снег с торбасов (сапоги, сшитые из оленьей шкуры, точнее камуса), и каюр схватил меня за руку. Я забыл, что нельзя соскабливать снег ножом. Грех. Какой? Теперь уже сами коряки не могут этого объяснить. Но нельзя — значит нельзя. Нельзя, скажем, хмуриться, когда делишь юколу. Тоже грех. Беда будет. И смысл в этом есть. Юкола, особенно в дороге, — единственная пища, спасение. Она требует к себе всеобщего уважения. А как можно проявлять уважение с кислой рожей?! Мало того, делить ее тоже надо уметь. Самые большие и самые лучшие куски нужно отдавать товарищам. И делать это надо незаметно. Не дай Бог демонстрировать. В тундре нельзя точить нож. Это уже не просто грех, это — большой грех. Во-первых, пурга будет, во-вторых, как можно в присутствии путника точить нож! Нельзя.

Я часами наблюдал за ходом упряжки. Пестрые лайки шустро семенили своими короткими лапами, показывая пурпурно-красные подошвы. При хорошем насте слышен был радующий душу звон от скольжения. В таких случаях вожак то и дело оглядывался, словно желал спросить у каюра, доволен ли тот

упряжкой. Я не раз видел, как искрились от радости и счастья собачьи глаза, когда каюр, остановив упряжку, валил нарту на бок и втыкал впереди нас остол. Это значит — остановка. На чай или на ночлег. Главное — остановка. В таких случаях по незаметной для нас команде Боцмана все собаки ложились на снег. И, прижавшись друг к другу, тотчас засыпали.

Я замечал, как одна собака, белая-пребелая, с черной мордой, как в черной маске, которую каюр чаще других переставлял с места на место, ленится. У всех поводки натягивались, как тетива, а у этой зачастую тащился по снегу. Шустрая такая лайка, крупная, с хитрыми глазами. Ее не только Покко недолюбливал, но и собратья по упряжке относились к ней с нескрываемым презрением. Прозвал я белую лайку с черной мордой Сачком. Не хилая, не квелая, очень даже резвая, но сачок. Всю энергию тратила на то, как бы половчее сачковать.

...Жизнь Сачка в упряжке была невыносимой. Как только он во время привала приближался к другим собакам, слышалось медленно нарастающее рычание. С кем бы рядом его ни поставили, начиналась грызня. Больше всего каюр боялся ставить Сачка рядом с Боцманом. Он знал, что присутствие рядом ненавистного «человека» выведет из терпения вожака, и тогда пострадает вся упряжка. Когда перед сном я раздавал собакам по рыбине, Сачок, прежде чем поймать на лету свою порцию, трусливо озирался по сторонам. Боялся, как бы кто не перехватил. Хотя у собак одной упряжки имеется свой строгий закон. Во время раздачи корма каюр смотрит лайке в глаза и только потом бросает рыбину. И если она пролетела мимо, никто не посмеет взять ее. А Сачок не верил, что по отношению к нему товарищи будут соблюдать неписаный закон. По-видимому, у него самого в голове не раз мелькала мысль отхватить чужой кусок. И немудрено. У коряков (в отличие от чукчей и алеутов) собак в пути кормят только раз и только перед сном.

Недалеко от поселка Верхняя Парень мы преодолевали пологий, но довольно большой перевал. Известное дело, на перевале человек не имеет права сидеть на нарте. Он идет пешком. Тащит нарту, держась за стоячий баран — вертикальную дугообразную стойку. Тащили и мы нашу груженую нарту. И несмотря на трескучий мороз, пот лил в три ручья. Я уже хорошо знал, что на вершине перевала будет чай, — нельзя потным спускаться с ветерком. Окоченеешь. Обледенеет потная майка, потная рубашка. Промерзнет, как капуста. Вся мудрость при подъеме в гору заключается в том, чтобы не останавливать уп-

ряжку. Если даже на мгновение остановится нарта, значит надо приложить большое усилие, чтобы сдвинуть ее с места. А это накладно. Раз, другой, третий — и уходят силы. Надо сохранить инерцию. И мы старались вовсю. Не старалась только белая лайка с черной мордой. По-прежнему болтался поводок. Сачок явно мешал другим. Моментами тащил нарту назад. Путался под ногами соседей, которые не успевали даже языком лизнуть снег, чтобы утолить жажду. Жажду, которая обычно сильно мучает собак на больших и долгих перевалах.

Я полюбил эту нашу упряжку. И раньше много раз ездил на нартах. Случалось, полгода беспрерывно находился в пути вместе с бригадой «Красной яранги». Но никогда ранее у меня не возникали к собакам такие поистине теплые чувства, как при переходе по Пареньской тундре в трескучий мороз. Некоторые участки мы преодолевали без ночевки. Собаки отдыхали, а мы — нет. Могли замерзнуть. Спасение было только в движении. Отчетливо сознавали: в такой мороз если что случится с собаками, то погибнем мы. Если власть передать из лап Боцмана в лапы Сачка, то погибла бы вскоре вся упряжка. Мы ходили вокруг спящей упряжки, сторожили ее, ждали, пока она наберется сил. И когда приходило время поднять собак, я их жалел, словно будил маленьких детей. Нарушая все же закон тундры, я, бывало, втихомолку подкармливал их в неурочный час. Покко догадывался, но ничего не говорил. Прощал. И вдруг я явно почувствовал, что уже сам, как и каюр, как Боцман и его верные товарищи, презираю белую лайку с черной мордой.

Незадолго до вершины Сачок в очередной раз дал сначала слабину поводку, а затем ухитрился даже, чтобы упряжка тащила его. Заметил это и Покко. Он вмиг остановил упряжку, медленно подошел к собакам, которые успели уже разлечься. Хоть минуту, но отдохнут. Каюр показал остолом в сторону Сачка и огрел по взмыленной спине Боцмана. Я отвернулся. Это было, в конце концов, так несправедливо! Хотелось наброситься на Покко, но я с места не сдвинулся. Урок, видать, пошел впрок.

Покко вернулся на свое место. Взялись мы за стоячий баран и сдвинули разом нарту с места. Я видел, как старается на сей раз Сачок, как дрожит на нем шерсть.

На вершине была объявлена чаевка. О том, как коряки в мгновение ока в абсолютно белой, голой, открытой тундре делают костер, много написано и рассказано. Буквально через

считаные минуты мы уже пили чай, едва дотрагиваясь холодными губами до горячего края алюминиевой кружки. Я все смотрел на Покко, который явно не походил на себя. Не было привычного спокойствия. Словно он ожидал чего-то важного. Он то и дело исподлобья поглядывал на свою упряжку.

Неожиданно морозный воздух тундры пронзил душераздирающий визг. Затем послышалось хрипение. Только после этого Покко облегченно вздохнул. Его, видимо, мучало само ожидание. Он просто был уверен, что все кончится так, как кончилось. Что вожак сделает свое дело.

Оставшийся путь мы проехали с одиннадцатью собаками. Упряжка с черным, как смоль, вожаком шла веселее, увереннее. Морозный воздух резко прорезал обычно радующий душу звон от скольжения свежевойтанных полозьев по жесткому ледяному насту. Собаки по привычке то и дело поворачивали голову назад, словно желая, как уже говорилось, справиться о настроении каюра. В какое-то мгновение я поймал взгляд Боцмана. Красные печальные глаза, казалось, умоляли нас и собратьев по упряжке не осуждать его за содеянное. Вожак давал понять, что он не только спасал упряжку, но и поступил так, как его учили.